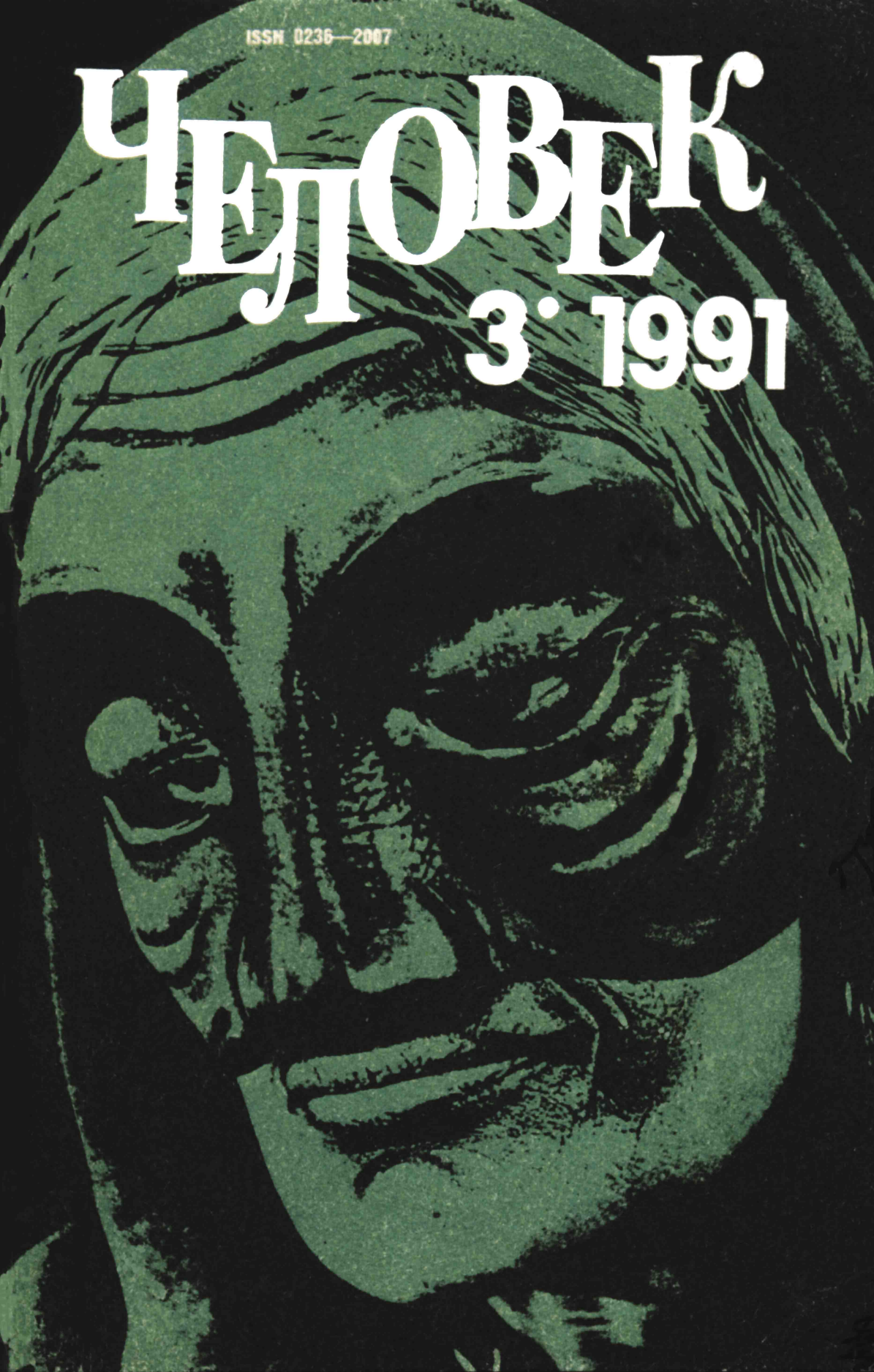
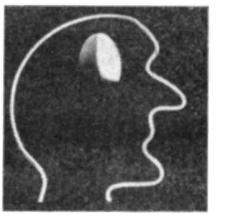
ISSN 0236—2007

ЧЕЛОВЕК

3 · 1991



Истории Тимофеева-Ресовского, рассказанные им самим*



ФОНОГРАФ

Н. В. Тимофеев-Ресовский дома во время беседы. Обнинск. 1974 г.

Гимназия. Учителя

Большинство сколько-нибудь стоящих биологов бывают, обыкновенно, зоологами или ботаниками чуть не с рождения, во всяком случае, с детских лет. И я был зоологом сколько себя помню. Я вообще детство проводил в различных, свойственных детскому и юношескому возрасту безобразиях: драках и прочее. А в свободное время сидел на диване с десятитомной «Жизнью животных» Брема. И все десять томов чуть ли не наизусть знал уже ко времени гимназии. В Бреме из патриотических соображений я заинтересовался фауной Российской империи в основном, а фауны заграничные меня меньше интересовали. А так как Российская империя целиком входила в палеоарктическую область, то с зоогеографической точки зрения я интересовался палеоарктической областью. Остальными же зоогеографическими областями пренебрегал и до сих пор пренебрегаю. Но, по детским годам и свойственным детскому возрасту интересам, я вначале-то интересовался не какими-то областями, а размерами животных. Выискивал в Бреме наидлиннейших и наитяжелейших китов, какого размера достигают слоны, и, наоборот, самых маленьких млекопитающих: есть ли млекопитающие меньше мыши-малютки и т. д.

Тогда же определились у меня и некоторые интересы более специфические: я стал «мокрым» зоологом, т. е. меня больше интересовали водная и прибрежная фауна, чем чисто сухопутная. С малых же лет я стал весьма страстным аквариумистом. Жили мы сперва в Киеве, потом в Москве в больших квартирах, места у меня было достаточно. Я занимал аквариумами не только свою комнату, то и часть других комнат. У меня временами бывало до 35—40 аквариумов, самых разнообразных размеров: от крупных аккумуляторных банок стеклянных до проточных аквариумов длиной более метра, шириной почти в метр и высотой сантиметров 75. В этих аквариумах, я опять-таки довольно быстро, сконцентрировал свои интересы на определенных группах животных. Из рыб аквариумных я любил лабиринтовых: макроподов, гурами,

© Библиотеки Московского государственного университета, 1991

Продолжение. Начало см. № 2, 1991.

бойцовых рыбок. Терпеть не мог золотых рыбок, презирал их, даже со всеми пышными экзотическими вариантами: вуалехвосток, телескопов — все это презирал. Любил часть живородок, а затем разводил очень много у себя в аквариумах отечественных пресноводных рыб, особливо вьюновых, горчаков и некоторых других. Причем (это было тогда сравнительной редкостью) у меня в аквариумах целый ряд отечественных аквариумных рыб размножались: откладывали икру и выводили мальков. Некоторые виды, насколько мне до сих пор известно, только у меня в аквариумах и разводились. У меня была очень полная коллекция.

Дело в том, что в Киеве мы жили на Большой Житомирской улице, дом 8, который принадлежал тогдашнему миллионеру и сахарозаводчику Шелюшко. А Шелюшко тоже с малых лет, несмотря на то, что был миллионером и сахарозаводчиком, по сути дела, был зоологом, аквариумистом. И так как он был человеком очень богатым, то на Львовской улице, которая являлась продолжением Большой Житомирской, был большой участок, занятый рыборазводнями Шелюшко. У Шелюшки в рыборазводнях аквариумных рыб было, по тогдашним нашим сведениям, Шелюшки и моим, больше чем в Гамбурге, который был знаменитым на весь мир центром импорта аквариумных тропических и субтропических рыбок. Шелюшко стоял в контакте со всеми оптовиками гамбургскими, у него были как гамбургские все виды рыб, так и время от времени он, так сказать, оплачивал собственные экспедиции для добычи новых аквариумных тропических рыбок. И я, конечно, временами в рыборазводне дневал и чуть не ночевал. И поэтому интересующих меня рыб у меня всегда был максимально возможный набор.

В связи с «Жизнью животных» Брема, в связи с рыборазводней Шелюшки, в связи с собственными аквариумами у меня, конечно, развился интерес и к собственным экскурсиям на водоемы, не только на Днепр, но и на малые реки и пруды, и сажалки, где я ловил всякую рыбную и нерыбную мелочь для своих аквариумов. Этим путем я привык к зоологическим экскурсиям, иногда довольно дальним, благодаря разумному отношению моего родителя к выращиванию собственного потомства: мне отец позволял после проверки любые, так сказать, пределы свободы. Как-то он меня летом взял с собой, когда дамский пол, взрослый конечно, протестовал против моего исчезновения на довольно опасные речки чуть ли не на целый день, а иногда и на часть ночи, боясь, что я утону. Отец взял меня с собой на реку и еще до того, как я разделся, взял за задницу штанов и за шиворот, раскачал, бросил в реку и посмотрел, что будет. Я как рыба выплыл, в одеже еще раза два нырнул до дна, набрал там растений, вынырнул и вылез к нему благополучно с улыбающейся рожей. Он потом дамскому полу заявил, что он мне разрешает на любые пресноводные водоемы одному ходить сколько мне вздумается и когда вздумается. И с тех пор я обрел (мне было тогда, наверное, лет 8—9) полную свободу экскурсирования в любых направлениях и с любыми целями. По-моему, он сделал правильно.

Об этом обо всем я вспомнил в связи с тем, что точно таким способом я подошел к зоологическим экскурсиям, и с аквариумов и «Жизни животных» Брема начались мои серьезные интересы в зоологии, а потом в естествознании вообще. Так же как с чтения, как за границей их называют, Толстоевского: Толстого и Достоевского — начались мои литературные интересы и кое-какие художественные интересы, которые потом развились довольно всерьез в область искусствоведения, главным образом, живописи.

Затем я поступил в гимназию, и у меня был очень замечательный учитель Павел Викторович Терентьев, такой немножко вечный студент Киевского университета. Он сперва почти кончил естественное отделение физико-математического факультета, а потом перешел на медицинский факультет и уже кончил его после нашего отъезда из Киева, после того, как мы переехали в Москву. Павел Викторович обладал замечательным свойством, нужным, собственно, всякому преподавателю: я был человек, так сказать, трудноподдающийся дисциплинированию, порядку и всяким приказам и наказам, но я не мог огорчить Павла Викторовича Терентьева. Я учился всегда прекрасно и выполнял все его указания просто чтобы не огорчить его — настолько я уважал и любил Павла Викторовича Терентьева.

Еще в Киеве, будучи гимназистом средних классов, я пристроился фуксом к только что организованной Днепровской биологической станции, которой заведовал тогда совершенно молодой, по-моему, даже некончивший еще университета зоолог Белинг. Я работал на станции таким мальчишкой-препаратором в свободное время, в свободное не только от официального учения, но

и от ухода за моими аквариумными рыбами, от собственных экскурсий и т. д... Времени мне тогда не хватало, действительно не хватало. Потом-то, выросши, я увидел, что все взрослые обыкновенно врут, когда говорят, что не хватает времени. У большинства людей времени больше, чем надобно, особенно потому, что большинство людей не умеет оставаться одни, сами с собой, поэтому они тратят время на совершенные пустяки, а мне действительно тогда еще, в детстве, не хватало времени из-за зоологии.

Так вот, на Днепровской биологической станции я препараторствовал и помогал по уходу за экспериментальными посудинами, в которых Белинг разводил то, что ему нужно было в данный момент, и немножко привык к лабораторной обстановке. Тогда же я начал сам собирать коллекционный материал по карповым рыбам бассейна Днепра, собственно не самого Днепра, а бассейна Десны, как известно, крупнейшего левого притока Днепра. Тогда же я, будучи еще, в сущности, мальчишкой, гимназистом 4—5 класса, уже дотрепался в своих зоологических разговорах с Белингом до действительно интересной проблемы, сводящейся к тому, что в геологически сравнительно недавнее время какие-то были перепутаны, путаницы в притоках, в левых притоках Верхней Десны и в левых же притоках Верхней Оки. Следовательно, где-то в верховьях бассейнов Десны, принадлежащей к Днепровскому бассейну, а посему к бассейну Черного моря, и левых притоков Оки, принадлежащих Волжскому бассейну, а Волга, как известно, все еще впадает в Каспийское море, несмотря на то, что сейчас прилагаются все усилия, чтобы она больше никуда не впадала. Так вот. Это, конечно, представлялось нам тогда, и мне, шибздику, представлялось очень небезынтересной проблемой: очень недавние связи между все-таки довольно различными по своим условиям, по своей водной фауне вообще и ихтиофауне в особенности, Волжским и Днепровским бассейнами.

В самом начале 1914 года, после смерти отца, инженера путей сообщения, мы переехали в Москву. И я из Первой императорской александровской гимназии в Киеве перевелся в небезызвестную Флеровскую гимназию в Москве. Флеровская гимназия была в те времена во многих отношениях замечательна. Она была не номерной казенной гимназией, а так называемой частной, но по происхождению частной гимназией, основанной Александром Афиногеновичем Флеровым.

Частные гимназии в России раньше разделялись на две более или менее крупные категории. Одна была с правами для учащих, а другая — с правами для учащихся. С правами для учащихся — это, в сущности, были настоящие, обыкновенно недавно основанные, частные гимназии, реальные училища и другие школы, которые по программе и объему курсов были приравнены к соответствующим казенным учебным заведениям, ученики которых получали дипломы со всеми теми же правами, которые дают и дипломы казенных гимназий, реальных училищ и т. д. Но учащие, преподаватели автоматически прав не имели, т. е. им не шли чины, они состояли, так сказать, на частной службе в соответствующей частной гимназии. И поэтому во время экзаменов в таких гимназиях и реальных училищах присутствовали представители учебного округа, ну, что ли, в виде контроля.

А в частных гимназиях и реальных училищах с правами для учащих преподаватели имели все права учителей, и никто их не контролировал. Преподавание, экзамены, выдача дипломов — все проходило так же, как в номерных казенных гимназиях. Вот такой и была Флеровская гимназия. И была гимназией, по-моему, очень хорошей.

Она была типа казенных гимназий, в достаточной мере хулиганистая, никаких передовых методов к нам не применяли. Но во Флеровской гимназии был необычайно высокий даже для столичных гимназий — московских, петербургских, харьковских, одесских — процент талантливых учителей. Ну, просто талантливых в каком-то смысле! Многие из них были талантливые люди, кроме всего прочего, некоторые были чудаки, другие были действительно довольно крупными специалистами. У нас, в сущности, в каждом классе было по меньшей мере три, четыре очень хороших талантливых учителя. Для старших классов это имело большое значение. В старших классах учитель должен уметь увлекать своими лекциями и рассказами, а не применять какую-то идиотскую педагогику, которая никому не нужна.

Класс наш был в должной мере хулиганистый и отличался очень интересной особенностью: в нашем классе самое, так сказать, хулиганье, ну, человек пять-шесть, в то же самое время были лучшими учениками, которые в конце все кончили с золотыми и серебряными медалями. Этим, во-первых, объяс-

Старая Москва.

нялся высокий уровень нашего хулиганства и, во-вторых, большие трудности для начальства с нами бороться. Ну, нахулиганим, а в то же время, как говорится, цвет класса. Что ж поделаешь! Нельзя всех будущих медалистов выгнать из класса. Неловко вроде. И вот нас терпели поэтому. И хорошо делали, что терпели. И мы терпели начальство. Начальство у нас тоже было, в общем, хорошее. Александр Сергеевич Барков был прекрасный директор. И когда что-нибудь действительно серьезное случалось, он умел формально закрыть глаза, не заметить и пропустить. А потом частным образом нас вздрючить. Но вообще мы хулиганили обыкновенно, остроумно и, в общем, безвредно.

Я пробовал обучать теперешних школьников, но ведь теперешние школьники, поскольку они не подвергаются никакой дисциплине, могут хоть на головах ходить, хоть без штанов разгуливать по коридорам и вытворять со своими учительницами-шкрабшами все, что угодно, а вы с ними ничего не можете вытворить, то как-то и хулиганить-то им неинтересно. Они вот больше обрезают... микрофоны у автоматов телефонных. Такой работой занимаются.

А мы так. У нас один год была очень симпатичная по-человечески, совершенно русская, но блестяще знавшая французский язык, преподавательница французского языка. У нас в мужских гимназиях преподавательниц обыкновенно не было. Вот единственно бывали француженки. Ну вот, один год и у нас француженка была, Ольга Владимировна, удивительно симпатичная дама, и такая очень дама. А она временами любила устраивать целый урок (у нее было два урока в неделю, один раз час, а другой раз два часа), вот двухчасовой урок она время от времени посвящала сплошному спросу. Ну, а сплошной спрос, как известно, неприятная вещь. Пусть лучше треплется учительница, чем спрашивает. Потому что, ежели она спрашивает, мы мычим. А она может трепаться свободно.

Тогда мы такую штуку произвели. Какой-то особенно предстоял неприятный спрос. Перед тем мы послали Льва Харлашку в булочную Чуева в одном из арбатских переулков. Там за пятак, в такой бумажный фунтик мальчонка набирает прусаков, лучше прусаков, а не тараканов: они мельче. Перед уроком на кафедру ставился стул, кафедра, сама довольно высокая, затем стул ставился на кафедру и самый долговязый влезал на стул и из пакетика брал за ножки осторожно прусаков, плевал им на спинку и приклеивал к потолку над кафедрой. И так обклеивал потолок. Потолки высокие, француженка-то, чего ей на потолок глядеть, на потолок ей глядеть нечего. Она приходила, садилась за

кафедру. А слюни, как всякое жидкое и полужидкое тело, имеют привычку подсыхать. Значит, на спинке у таракашки слюнки подсохнут — он и падает на француженку. Она не понимает. Видит: тараканы начинают бегать вокруг нее. Один заполз ей за шею, прямо как у Козьмы Пруткова: «Однажды попадье заполз червяк за шею». Она разохалась, разахалась, решила, что в гимназии какая-то инвазия тараканов началась. Мы, конечно, тоже все вскочили, разохались, разахались, начали ловить этих прусаков. Одним словом, произошло большое оживление и веселье. Она побежала к кому-то там... к швейцару или помощнику швейцара, к кому-то из так называемых работяг жаловаться, что откуда, мол, эти тараканы завелись. Тот прибежал. Но тот не дурак — посмотрел на потолок: а там еще остатние, неподсохшие еще на потолке были. Он тогда: «А вот видите, откуда они». Ну, тут и ей стало все ясно. Но так как она была дама, во-первых, настоящая дама, а во-вторых, не сволочь и не стерва... Так что вот, такую штуку проделывали.

Потом у нас был замечательный физик, Борис Федорович Розанов. Он был доцентом Петровской сельскохозяйственной академии, ныне Тимирязевка, и у нас преподавал физику. Он очень хороший был человек, просто замечательный человек, прекрасный физик, но он, обыкновенно, плохо соображал, где он находится и иногда впадал в такое физическое увлечение, что, упершись в доску с формулами, рассказывал нам что-то такое, наверное, очень интересное, чего мы не понимали. И еще страшно любил показывать опыты. Мы их называли фокусами и даже всегда просили: «Борис Федорович, Вы нам сегодня фокусы покажете?» А он смеялся, говорил: «Покажу, покажу».

А у нас было несколько комиков. Главные комики были: Игорь Ильинский, который потом профессионалом стал по этой части, но он был так, на третьем месте, а на первом и на втором месте были Вольф и Верлей. Ну, эти были действительно прирожденные комики, разного стиля: у Верлея морда кирпича просит, такая именно морда, а не личность, какой-то квадратный такой череп, волосья... называлось это бобриком, когда начальство приставало: «Когда ты подстрижешься?», он говорил: «У меня бобрик». А это не бобрик, а черт знает, что на голове. И такая наглая физиономия, как у такого, ну, средних лет пропойного пьяницы.

А Вольф, наоборот. Папаша у него был акционер издательства «Вольф», люди богатые были, и очень шикарно он одевался, ему начальство иной раз делало замечание и раз даже приказало больше не приходить. И он умел быть изысканно изящен и вежлив.

И вот Борис Федорович Розанов. Я до сих пор помню один случай, когда его чуть кондрашка не хватила. В связи с какой-то физикой общепонятной и общедоступной он показывал общеизвестный, элементарный опыт сообщающихся сосудов: для этого берут изогнутую трубку, наливают в нее подкрашенную воду, либо красную, либо синюю, и потом показывают, что в обоих коленах этой трубки на одном уровне вода стоит. Почему это так, вам, гуманитариям, конечно, неизвестно, но что это так, вы в этом убеждены. Ну, и мы конечно, все были убеждены. И вот Борис Федорович показывает нам закон сообщающихся сосудов, морда у него сияет: он страшно любил любые, даже совершенно элементарные опыты показывать. Показал. И тогда Вольф аккуратно подымает руку: «Разрешите, Борис Федорович?» А Борис Федорович страшно любил, когда мы, мальчики, задаем вопросы. Это ведь многие учителя любят, потому что думают, по глупости и серости, что это от интереса и понимания, когда это от хулиганства, вообще-то говоря. Так вот он поднял ручку: «Можно вопрос в связи с очень интерсным фо..., простите, опытом, который Вы только что нам показали...» и потом таким... баритоном интеллигентным, задушевным, вдумчивым баритоном... сперва небольшое такое введеньице, что, знаете, Борис Федорович, я всегда восхищаюсь точными Вашими науками, до чего это все замечательно, особенно, вот, физика. Химия — это все-таки не то, а вот физика — это замечательно. Вот меня очень увлек этот интересный эксперимент, который Вы нам показали. Но у меня вопрос». Борис Федорович сияет. Вопрос! «Скажите, Борис Федорович, если воду вместо синего выкрасить в красный, тоже получится?» Тут Борис Федорович вдруг обмяк, и мы думали, что с ним кондрашка случится: «Я рассказывал, думал что вы, сукины дети, понимаете, а оказывается, вы ни черта не понимаете». Большое это было для него разочарование.

Но потом он вскоре утих, он очень был отходчив. Я этот урок помню, он перед глазами у меня стоит... последний урок, мы должны были уходить. И после уроков, значит, звонок прозвенел, мы все встали, Борис Федорович тут еще кому-то что-то объяснял, и мы пропели ему при выходе любимую его песню:

«Борис Федорович полысел, полысел,
Борис Федорович полысел, полысел. Да!»

А еще был случай, когда опять по наивности и такой хорошести своей он просто испугался, и тоже его чуть кондрашка не хватила. У нас был замечательный физический кабинет, просторный такой. Впереди большой стол, за которым разгуливал преподаватель, черная доска, которая ездила вверх и вниз, не хуже, чем в теперешнем МГУ, и такие столики на двух человек, не парты, а именно столики, а внизу, как у парт они были скреплены соответствующей скамейкой для двоих. На этих столиках можно было опыты проделывать с приборчиками, всякие такие штуки. А Борис Федорович был глуховат, и, как я уже говорил, страшно увлекался. Так вот. Мы отрепетировали такую штуку. Это трудно было, но мы репетировали долго и достигли совершенства почти балетного. По команде безмолвной впереди сидящий подымал руку, все мы брали, каждый, под стол руками, скамью подымали и так-так-так — поворачивались на 180 градусов. Причем до того отрепетировали, что это все происходило абсолютно бесшумно, да и Борис Федорович глуховат без того.

И вот однажды, когда он увлекся у доски, мы таким образом перевернулись. А он, значит, свое отбубнив, повернулся к классу и — ничего не мог понять. Начал он перед классом, а кончил — в заду где-то. Потом вдруг сообразил и страшно был сам доволен. Хохотал: «Как это?!» Ну, тут мы ему: «Борис Федорович, это Вам не физика. Мы две недели тренировались. Каждый день начинали с того, что приходили на четверть часа раньше в гимназию и четверть часа упражнялись». Вот такие штуки, это штуки приятные, хулиганство не вредное и с выдумкой.

Наряду со всякими хулиганствами и прочими фокусами мы, однако, с переменным успехом занимались. Из преподавателей были у нас самыми замечательными следующие. Во-первых, математик, Николай Тимофеевич Зерчанинов. Мы его звали либо Николай Теоремович, либо Николай Мордофеевич. Очень хороший человек, быстр был на все: и на соображение, на ответ, на вопрос, быстро двигался, быстро ходил, довольно быстро говорил, прекрасно преподавал математику. У нас примерно половина класса была антиматематически настроена, но и эта половина все же знала более или менее математику. Он нам очень много помогал во всяких общественных делах: в устройстве и организации кружков, затем, когда мы влопывались с хулиганствами какими-нибудь, и нужно было вступать в умные и осторожные отношения с начальством, потому что начальство, хотя и были люди очень хорошие, но все-таки они начальство были, чиновники, и не могли спускать нам все, что угодно. Так вот Николай Мордофеевич нам помогал в этих делах. Он как-то умел с начальством вдумчиво говорить на педагогическом уровне. Все это как-то так оборачивалось, что получалось в конце концов: «Ну что ж, ну схулиганили, ну не беда». Вот к этому он вел. Вот, это был очень замечательный учитель.

Затем — Константин Иванович Горбачевский, латинист, преподаватель латинского языка. Ведь считалось, особенно передовой интеллигенцией, чтоб ее черт побрал!, которая ничего ни в чем не смыслила обыкновенно, что это какие-то ретроградные люди, что предмет совершенно ненужный... Я считаю, что латынь, пожалуй, основной нужный предмет в средней школе. Мы сейчас видим: у современной молодежи, кончающей среднюю школу, невероятные, в сущности, непреодолимые трудности с иностранными языками. Они долбят слова и число знаков, либо английских, либо немецких, по 12 лет подряд и ничего не выдалбливают. И это, во-первых, связано с тем, что преподавание иностранных языков в средней школе у нас поставлено — хуже трудно придумать. Все эти учительницы своими иностранными языками не владеют, а владеют только какими-то педагогическими приемами. А мальчишкам и девчонкам надо язык выучить, а не педагогические приемы, черт побери. А нас безо всякой педагогики учили... И в конце концов, так как преподавателям языков запрещалось в классе по-русски разговаривать, то, в общем, все кончалось благополучно.

А во-вторых, сейчас нет латыни. Это ведь ужасная вещь. Ведь на латыни основаны все эти наши-то, русские иностранного происхождения слова, которые русские люди современные не понимают, откуда они взялись, поэтому перевирают с невероятной легкостью. Затем большинство научной и технической терминологии основано на латинских и греческих корнях, преимущественно латинских. И ежели греческие участвуют, то в латинизированном виде. И наконец, латинская грамматика — основа всех европейских языков, кроме русского и английского.

С русским такое приключение случилось: преподобными Кириллом и Ме-

фодием была изобретена своя азбука, но компилятивная, скомпилировали из греческой, из латинской, арабской, еврейской и всяких других свою азбуку славянскую для тогдашнего литературного славянского языка, и свою грамматику тоже скомпилировали из разных грамматик, присобачили ее к этому литературному славянскому языку. Алфавит, грамматика и язык литературный в течение тысячи с лишним лет совместно эволюционировали и привели в конце концов к «великому, могучему, свободному» и так дальше, русскому языку, который сейчас коверкают на все возможные лады.

К романским языкам, которым латинскую грамматику сверху придали, ну, более или менее подошла, особенно к итальянскому и французскому языкам.

Французский язык поэтому, совершенный литературный французский язык, пожалуй, из европейских языков наиболее прецизионный, элегантный и совершенный по структуре. А вот в германских языках получилась неприятность. Немецкий литературный язык подчинился латинской грамматике и получились все эти «цу на концу», понимай все наоборот, а что наоборот понимать — уже забыто. Затем ненужные в немецком языке *Plusquamperfekt, Futurum Zwei* и всякие штуки. И это повело к тому, что сейчас высококультурные, интеллигентные немцы часто плохо владеют грамматикой своего собственного языка. А разговорный язык всегда отъезжает от литературного. Ежели человек разговаривает на языке Шиллера и Гете, то сразу значит, что это иностранец, по возможности русский. Потому что на языке Шиллера и Гете никто не разговаривает.

Другая крайность — это английский язык, который при этой оказии вообще от грамматики отделался. Говорят, особенно у нас, что в английских школах очень плохо и безнадежно пробуют обучать детишек английскому языку, и ничему они не выучили, конечно, по вышеизложенным причинам. Я вот довольно в совершенстве владел английским языком, сейчас немного подзабыл, но не помню, чтоб я изучал, или, вообще, даже слышал о какой-то английской грамматике. Мне какие-то друзья говорили, что она отличается тем, что состоит преимущественно из исключений. И у меня было много друзей, англичан и американцев, которые тоже утверждают, что они, в общем, тоже об английской грамматике никогда путем не слышали, и она без надобности. Ну, английский язык, вообще, движется... навстречу к китайскому благодаря абсолютному несоответствию языка латинскому алфавиту и вместе с тем сохранению традиций написания слов романогерманских (как известно, пишется Ливерпуль, а произносится Манчестер). И в общем написание превращается в символику какую-то: например, слово *through* — сколько букв, а, собственно, два с половиной звука.

Так вот, у нас, к счастью, был замечательный латинист Константин Иванович Горбачевский. Он был вообще интересный очень человек, удивительно милый, хороший человек, за пределами класса всегда нас опекал всячески. Бывали случаи, что мы что-нибудь, действительно, отмачивали не вполне, так сказать, добропорядочное, он тогда нас мягко приводил к одному знаменателю и, вообще, мы чуть ли ему не в жилетку плакались уже полувзрослыми мужиками. Но в классе, когда он входил в класс, он вытягивался, у него один глаз был свой, а другой стеклянный, кроме всего прочего, острый нос, тощий, бритый — в общем, безобразный по виду. И он вытягивался, подымал руку и по-римски говорил: «*Salvéte, discipulis mei!*». На что, подымаясь, мы хором отвечали: «*Salve, Dominĕ magister!*». На уроках в основном с нами по латыни разговаривал. И преподавал нам не только латинскую грамматику и всякие там *cum temporale,* но древнеримскую историю.

Третий замечательный преподаватель был Владимир Михайлович Фишер, преподаватель русского языка и литературы. Ну, он просто очень интересный, талантливый человек был. Он нам с самого начала в шестом классе, сказал: «Я вам не буду преподавать то, что положено, я приват-доцент в университете, читаю, что хочу. Так я и вам буду читать, что хочу. А у меня есть вот учебничек, кроме того есть потолще учебник Соводника для гимназий и Сиповского несколько томиков хрестоматий по русской литературе и словесности. Так вот и пользуйтесь. Вы ребята достаточно взрослые, грамотные. А я вам буду интересное читать». Так он и делал. Мы что нужно учили, а сверх этого он нам читал интересное. И раз в месяц опрос. Он неможко гнусил, но совершенно замечательно декламировал, особенно классическую русскую поэзию, начиная с Ломоносова:

«Лицо свое скрывает день
Поля покрыла хладна ночь...»

И Державина. Он обратил в свое время наше внимание, и я в этом убедился совершенно, прочтя очень много всяких стихотворений на всяких языках, что в мировой поэзии лучшее произведение — это последние коротенькие стихи Державина:

«Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы».

Это, конечно, лучшее произведение всей мировой поэзии по краткости, ясности и всем прочим качествам. Ничего лучше никто не написал. Владимир Михайлович Фишер всем нам, включая уже в то время безнадежных математиков, физиков и естественников, привил любовь к настоящей хорошей литературе. Это редко бывает. Школа, если поглядеть сейчас, современная школа, ведь она у молодежи отбивает всякий вкус к какой бы то ни было литературе. Да и раньше то, что проходилось в обязательном порядке в гимназиях, обыкновенно за всю жизнь не перечитывалось. Хватало. А мы все были Владимиром Михайловичем приучены к хорошей русской литературе, и, конечно, он нам давал очень хороший обзор всей мировой литературы.

У нас не было двух разных предметов: русской литературы и иностранной литературы. Иностранная литература давалась попутно с русской, так сказать, в контексте с русской и синхронно с русской. Он сам был очень хорошим переводчиком, и им были напечатаны переводы Байрона. Вообще, талантливейший был человек. И он не обладал ни стремлением к поддержанию дисциплины, ни строгостью, ни какими-то педагогическими качествами — ничем. Но никому, даже самым безнадежным хулиганам и дуракам в классе в голову не могло прийти во время урока Владимира Михайловича Фишера что-нибудь выкинуть, слово какое-нибудь сказать или звук какой-нибудь издать, двигаться зря. Все сидели, слушали и восхищались. Из чего следует, что всякая педагогика — гнусь и муть. Никому она ни на что не нужна. Паразитарная дисциплина совершенно. А для того чтобы ученики учились у преподавателя, преподаватель должен быть не глупым и не лишенным кое-каких талантов человек — больше ничего. И знать свой предмет. И любить свой предмет.

Затем был, конечно, хорош наш директор, Александр Сергеевич Барков. Он преподавал географию, до революции был доцентом, а потом стал профессором Московского университета. Он был очень хороший человек. Ну, у него вели себя всегда все примерно, он директор был, начальство, их превосходительство. Он заботился о том, чтобы у нас поддерживались кружки, всегда говорил, что официально я не обязан знать, но устраивайте кружки. И, в частности, он принимал участие вне стен гимназии в нашем географическом кружке. Это первый наш кружок был, который потом перерос в «Сикамбр».

И, наконец, упомяну еще Александра Петровича Калитинского, который был доцентом Археологического института, по специальности геолог и антрополог. Он немножко занимался физической антропологией, происхождением человека, всякими неандертальцами и прочими якобы уже членораздельными скотами. И археологом был немножко. Он преподавал у нас в старших классах и относился к преподаванию юмористически,что очень хорошо. Надо сказать, что все эти преподаватели, о которых я говорю вам, все они были замечательны в первую очередь тем, что в них не было «звериной серьезности». Они не страдали тем, что немцы называют «Der tierisch Ernst» — звериная серьезность. Это ужасное свойство многих людей — страдать звериной серьезностью. Так вот, они не страдали, и Калитинский в особенности. Он вообще нас предупредил, придя к нам в класс преподавать географию, это уже были основы экономической географии всего Земного шара и основы экономической географии России, и основы климатологии. И он нас предупредил: «Вот по программе вам положено то-то, могу вам рекомендовать такие-то учебники, такие-то книжки для чтения (точно так же, как Владимир Михайлович, только другого типа совершенно человек). А я вам буду интересные вещи рассказывать из того, что по программе не положено, главным образом, основы физической антропологии, происхождение человека и кое-что из климатологии новенькое: о Воейкове, тогда начал климатологией заниматься всерьез Лев Семенович Берг, о комплексной географии, о комплексном изучении земной поверхности».

И читал нам блестящие лекции.

Зоологию во Флеровской гимназии тогда преподавал Сергей Иванович Огнёв, зоолог, очень крупный, через некоторое время, через ряд лет ставший профессором зоологии Московского университета и крупным звероводом, крупным специалистом по млекопитающим, особенно по грызунам, отчасти насекомоядным. Сергей Иванович кроме того был сыном знаменитого в свое время, в те времена уже старика, Ивана Фролович Огнёва, профессора гистологии на медицинском факультете того же Московского университета, большого знатока московских древностей.

Кажется, я Вам уже рассказывал вначале, как мы втроем, представители трех поколений: Иван Фролович Огнёв, живописец известный очень Михаил Васильевич Нестеров — среднее поколение, ему тогда было сорок с хвостиком, и я, гимназист старших классов, во время первой мировой войны почти каждую субботу и воскресенье ходили по всем московским церквам. И не художник Нестеров, отчасти известный своей церковной живописью и вообще религиозной тематикой в живописи, а гистолог Иван Фролович Огнёв нам преподавал всю археологию и искусство старых московских церквей. Мы тогда обошли за две зимы, по-моему, все церкви московские, построенные раньше двадцатого века, с XIX века и до основания Москвы. Кроме того, той же тройкой ездили в теперешний Загорск, тогда Сергиев Посад и в окружающие пустыни.

А Сергей Иванович Огнёв тогда был молодым внештатным ассистентом Московского университета, сидел в Зоологическом музее. Но так как он по университету денежек не получал, и хотя семейство было не бедное, он хотел, конечно, зарабатывать деньги. И деньги он зарабатывал в качестве гимназического учителя зоологии. Это, между прочим, раньше была обычная карьера очень многих университетских профессоров и ученых наших крупных. Они все начинали свои заработки со школьного учительства, большинство. Не все, но большинство, потому что количество штатных оплачиваемых должностей ассистентов в университетах было ограничено очень. Внеуниверситетских чисто научных институтов практически почти не было не только в России, а вообще в мире. Значит, оплаченных научных должностей, в которых ученый мог начинать свою научную карьеру, было немного. Поэтому было естественно, что большинству приходилось на стороне где-то зарабатывать деньги. Естественнее всего было зарабатывать будущим ученым учителями, поэтому очень многие будущие крупные и историки, и филологи, и зоологи, и ботаники, и химики, и физики начинали с учительства в соответствующих специальностях, были гимназическими учителями.

Кто нуждался, тот мог в нескольких гимназиях набрать себе достаточное количество часов для того, чтобы вполне культурную, цивилизованную жизнь вести, даже жениться и родить каких-нибудь детей. А раньше-то рожали не одно дите и не сидели всю жизнь втроем. Как сейчас два родителя едят одного ребенка. Но ребята сейчас, в общем, устойчивые, и обычно все-таки не удается двум родителям угробить одного ребенка. А раньше-то ребят было много: нас было семь человек, у моей жены в семействе было детей девять штук, итого: в двух семействах наших было 16...

Так вот, вторым моим учителем зоологии стал Сергей Иванович Огнёв, и не столько по Флеровской гимназии, потому что гимназическая зоология для меня была уже малоинтересна, сколько по совместному участию в экспедициях. Он был блестящий экспедиционный и экскурсионный зоолог, прекрасно разбирался в природе, прекрасно видел ландшафт и был совершенно изумительным для тех времен фотографом.

Мне посчастливилось с Сергеем Ивановичем Огнёвым экскурсировать и в Смоленской губернии, и много по Московской губернии, малость по Тверской губернии, и в других экскурсиях зоологических я его сопровождал, поэтому ознакомился с местожительством и местообитаниями целого ряда млекопитающих и птиц в природных условиях. Можно по музейным шкуркам прекрасно знать какие-нибудь группы зверей и птиц и понятия не иметь, как они выглядят в природе, и где они на самом деле обитают. А вот Сергей Иванович и это прекрасно знал, и я у него этому научился.

Затем мне пришлось сопровождать его в качестве препаратора в нескольких больших экспедициях. Самой интересной была одна экспедиция в то, что теперь является Казахстаном, тогда Киргизскими степями называлось. Это тоже не так просто, как кажется. Проводить научные экспедиции надо уметь, знать, надо иметь какую-то школу. И вот я получил первые задатки, так сказать, экспедиционной школы от Сергея Ивановича Огнёва. Это мне потом очень пригодилось.*

(Продолжение следует)

* Материал подготовлен М. В. Радзишевской.